

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ

«ПО МОСТОВОЙ МОЕЙ
ДУШИ
ИЗЪЕЗЖЕННОЙ...»

Владимир Владимирович Маяковский

«По мостовой моей души изъезженной...»

Серия «Русская классика (АСТ)»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=27112695

«По мостовой моей души изъезженной...»: [сборник стихотворений] /

Владимир Маяковский: АСТ; Москва; 2018

ISBN 978-5-17-107753-2

Аннотация

В этот сборник включены стихи Маяковского разных лет.

Различные по темам и эмоциональной окраске, все они могут быть однозначно охарактеризованы, со слов самого поэта, как «пощечина общественному вкусу».

Сложные рифмы, яркие, смелые и вызывающие метафоры, «оголенный нерв» любви, ярости, ненависти и страдания, бьющийся в каждой строке, дерзкий отказ от деления на строфы, графическая подача стихов знаменитой «лесенкой» – Маяковский не зря называл себя футуристом. Его стихи увлекают, задевают за живое и совершенно не стареют.

Содержание

Ночь	7
Утро	9
Порт	11
Из улицы в улицу	12
А вы могли бы?	14
Вывескам	15
Я	16
От усталости	21
Любовь	22
Адище города	23
Нате!	24
Ничего не понимают	25
Кофта фата	26
Послушайте!	27
А все-таки	29
Война объявлена	31
Мама и убитый немцами вечер	33
Скрипка и немножко нервно	35
Я и Наполеон	37
Вам!	41
Гимн судье	42
Гимн ученому	44
Военно-морская любовь	46

Гимн критику	48
Гимн обеду	50
Теплое слово кое-каким порокам	52
Вот так я сделался собакой	54
Великолепные нелепости	57
Гимн взятке	59
Внимательное отношение к взяточникам	61
Чудовищные похороны	63
Эй!	66
Ко всему	69
Лиличка!	75
Надоело	78
Дешевая распродажа	81
Себе, любимому, посвящает эти строки автор	84
России	87
Революция	89
Сказка о красной шапочке	98
К ответу!	100
«Ешь ананасы, рябчиков жуй...»	102
Наш марш	103
Хорошее отношение к лошадям	105
Ода революции	108
Приказ по армии искусства	110
Радоваться рано	112
Поэт рабочий	114
Той стороне	116

Левый марш	120
Потрясающие факты	122
С товарищеским приветом, Маяковский	125
Мы идем	127
Окна РОСТА	130
«Рабочий! глупость беспартийную выкинь!..»	130
Песня рязанского мужика	131
Два гренадера и один адмирал	134
Баллада об одном короле и тоже об одной блохе	136
«Раньше были писатели белоручки...»	138
«Мчит Пилсудский...»	139
«Оружие Антанты – деньги...»	141
«Если жить вразброд...»	142
История про бублики и про бабу, не признающую республики	143
Красный еж	145
Частушки	146
Владимир Ильич!	147
Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче	150
Отношение к барышне	156
Гейнеобразное	157
«Портсигар в траву...»	158
Последняя страничка гражданской войны	159
О дряни	161

Стихотворение о Мясницкой, о бабе и о всероссийском масштабе	164
Приказ № 2 армии искусств	168
Прозаседавшиеся	172
Сволочи!	175
Конец ознакомительного фрагмента.	178

Владимир Маяковский

«По мостовой моей души изъезженной...»

Ночь

Багровый и белый отброшен и скомкан,
в зеленый бросали горстями дукаты,
а черным ладоням сбежавшихся окон
раздали горящие желтые карты.

Бульварам и площади было не странно
увидеть на зданиях синие тоги.
И раньше бегущим, как желтые раны,
огни обручали браслетами ноги.

Толпа – пестрошерстая быстрая кошка —
плыла, изгибаясь, дверями влекома;
каждый хотел протащить хоть немножко
громаду из смеха отлитого кома.

Я, чувствуя платья зовущие лапы,
в глаза им улыбку протиснул; пугая
ударами в жечь, хохотали арапы,

над лбом расцветивши крыло попугая.

1912

Утро

Угрюмый дождь скосил глаза.
А за
решеткой
четкой
железной мысли проводов —
перина.
И на
нее
встающих звезд
легко оперлись ноги.
Но ги-
бель фонарей,
царей
в короне газа,
для глаза
сделала больней
враждующий букет бульварных проституток.
И жуток
шуток
клюющий смех —
из желтых
ядовитых роз
возрос
зигзагом.

За гам
и жуть
взглянуть
отрадно глазу:
раба
крестов
страдающе-спокойно-безразличных,
гроба
домов
публичных
восток бросал в одну пылающую вазу.

1912

Порт

Просты́ни вод под брюхом были.
Их рвал на волны белый зуб.
Был вой трубы – как будто лили
любовь и похоть медью труб.

Прижались лодки в люльках входов
к сосцам железных матерей.
В углах оглохших пароходов
горели серьги якорей.

1912

Из улицы в улицу

У
лица.
Лица
У
догов
годов
рез
че.
Че
рез
железных коней
с окон бегущих домов
прыгнули первые кубы.
Лебеди шей колокольных,
гнитесь в силках проводов!
В небе жирафий рисунок готов
выпестрить ржавые чубы.
Пестр, как форель,
сын
безузорной пашни.
Фокусник
рельсы
тянет из пасти трамвая,
скрыт циферблатами башни.

Мы завоеваны!

Ванны.

Души.

Лифт.

Лиф души расстегнули.

Тело жгут руки.

Кричи, не кричи:

«Я не хотела!» —

резок

жгут

муки.

Ветер колючий

трубе

вырывает

дымчатой шерсти клок.

Лысый фонарь

сладострастно снимает

с улицы

черный чулок.

1913

А вы могли бы?

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?

1913

Вывескам

Читайте железные книги!
Под флейту золоченой буквы
полезут копченые сиги
и золотокудрые брюквы.

А если веселостью песьей
закружат созвездия «Магги» —
бюро похоронных процессий
свои проведут саркофаги.

Когда же, хмур и плачевен,
загасит фонарные знаки,
влюбляйтесь под небом харчевен
в фаянсовых чайников маки!

1913

Я

1

По мостовой
моей души изъезженной
шаги помешанных
вьют жестких фраз пяты.
Где города
повешены
и в петле облака
застыли
башен
кривые выи —
иду
один рыдать,
что перекрестком
распяты
городовые.

Несколько слов о моей жене

Морей неведомых далеким пляжем
идет луна —
жена моя.

Моя любовница рыжеволосая.
За экипажем
крикливо тянется толпа созвездий
пестрополосая.

Венчается автомобильным гаражем,
целуется газетными киосками,
а шлейфа млечный путь моргающим пажем
украшен мишурными блестками.

А я?

Несло же, палимому, бровей коромысло
из глаз колодцев студёные ведра.

В шелках озерных ты висла,
янтарной скрипкой пели бедра?

В края, где злоба крыш,
не кинешь блесткой лесни.

В бульварах я тону, тоской песков оваян:
ведь это ж дочь твоя —
моя песня

в чулке ажурном
у кофеен!

3

Несколько слов о моей маме

У меня есть мама на васильковых обоях.
А я гуляю в пестрых павах,
вихрастые ромашки, шагом меряя, мучу.
Заиграет вечер на гобоях ржавых,
подхожу к окошку,
веря,
что увижу опять
севшую
на дом
тучу.
А у мамы больной
пробегают народа шорохи
от кровати до угла пустого.
Мама знает —
это мысли сумасшедшей ворохи
вылезают из-за крыш завода Шустова.
И когда мой лоб, венчанный шляпой фетровой,
окровавит гаснущая рама,

я скажу,
раздвинув басом ветра вой:
«Мама.
Если станет жалко мне
вазы вашей муки,
сбитой каблуками облачного танца, —
кто же изласкает золотые руки,
вывеской заломленные у витрин Аванцо?..»

4

Несколько слов обо мне самом

Я люблю смотреть, как умирают дети.
Вы прибою смеха мгlistый вал заметили
за тоски хоботом?
А я —
в читальне улиц —
так часто перелистывал гроба том.
Полночь
промокшими пальцами щупала
меня
и забитый забор,
и с каплями ливня на лысине купола
скакал сумасшедший собор.

Я вижу, Христос из иконы бежал,
хитона оветренный край
целовала, плача, слякоть.
Кричу кирпичу,
слов иступленных вонзаю кинжал
в неба распухшего мякоть:
«Солнце!
Отец мой!
Сжался хоть ты и не мучай!
Это тобою пролитая кровь моя льется
дорогою дольней.
Это душа моя
ключьями порванной тучи
в выжженном небе
на ржавом кресте колокольни!
Время!
Хоть ты, хромой богомаз,
лик намалюй мой
в божницу уродца века!
Я одинок, как последний глаз
у идущего к слепым человека!»

1913

От усталости

Земля!

Дай исцелую твою лысеющую голову
лохмотьями губ моих в пятнах чужих позолот.

Дымом волос над пожарами глаз из олова
дай обовью я впалые груди болот.

Ты! Нас – двое,

ораненных, загнанных ланями,
вздыбилось ржанье оседланных смертью коней.

Дым из-за дома догонит нас длинными дланями,
мутью озлобив глаза догнивающих в ливнях огней.

Сестра моя!

В богадельнях идущих веков,
может быть, мать мне сыщется;
бросил я ей окровавленный песнями рог.

Квакая, скачет по полю
канава, зеленая сыщица,
нас заневолить
веревками грязных дорог.

1913

Любовь

(«Девушка пугливо куталась в болото...»)

Девушка пугливо куталась в болото,
ширились зловеще лягушечьи мотивы,
в рельсах колебался рыжеватый кто-то,
и укорно в буклях проходили локомотивы.

В облачные пары сквозь солнечный угар
врезалось бешенство ветряной мазурки,
и вот я – озноенный июльский тротуар,
а женщина поцелуи бросает – окурки!

Бросьте города, глупые люди!
Идите голые лить на солнцепеке
пьяные вина в меха-груди,
дождь-поцелуи в угли-щеки.

1913

Адище города

Адище города окна разбили
на крохотные, сосущие светом адки.
Рыжие дьяволы, вздымались автомобили,
над самым ухом взрывая гудки.

А там, под вывеской, где сельди из Керчи —
сбитый старикашка шарил очки
и заплакал, когда в вечереющем смерче
трамвай с разбега взметнул зрачки.

В дырах небоскребов, где горела руда
и железо поездов громоздило лаз —
крикнул аэроплан и упал туда,
где у раненого солнца вытекал глаз.

И тогда уже – скомкав фонарей одеяла —
ночь излюбилась, похабна и пьяна,
а за солнцами улиц где-то ковыляла
никому не нужная, дряблая луна.

Нате!

Через час отсюда в чистый переулок
вытечет по человеку ваш обрюзгший жир,
а я вам открыл столько стихов шкатулок,
я – бесценных слов мот и транжир.

Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста
где-то недокушанных, недоеденных щей;
вот вы, женщина, на вас белила густо,
вы смотрите устрицей из раковин вещей.

Все вы на бабочку поэтиного сердца
взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош.
Толпа озвереет, будет тереться,
ощетинит ножки стоглавая вошь.

А если сегодня мне, грубому гунну,
кривляться перед вами не захочется – и вот
я захохочу и радостно плюну,
плюну в лицо вам
я – бесценных слов транжир и мот.

Ничего не понимают

Вошел к парикмахеру, сказал – спокойный:

«Будьте добры, причешите мне уши».

Гладкий парикмахер сразу стал хвойный,

лицо вытянулось, как у груши.

«Сумасшедший!

Рыжий!» —

запрыгали слова.

Ругань металась от писка до писка,

и до-о-о-о-лго

хихикала чья-то голова,

выдергиваясь из толпы, как старая редиска.

1913

Кофта фата

Я сошью себе черные штаны
из бархата голоса моего.
Желтую кофту из трех аршин заката.
По Невскому мира, по лощеным полосам его,
профланирую шагом Дон-Жуана и фата.

Пусть земля кричит, в покое обабившись:
«Ты зеленые весны идешь насиловать!»
Я брошу солнцу, нагло ослабившись:
«На глади асфальта мне хорошо грассировать!»

Не потому ли, что небо голубо,
а земля мне любовница в этой праздничной чистке,
я дарю вам стихи, веселые, как би-ба-бо,
и острые и нужные, как зубочистки!

Женщины, любящие мое мясо, и эта
девушка, смотрящая на меня, как на брата,
закидайте улыбками меня, поэта, —
я цветами нашью их мне на кофту фата!

Послушайте!

Послушайте!

Ведь, если звезды зажигают —

значит — это кому-нибудь нужно?

Значит — кто-то хочет, чтобы они были?

Значит — кто-то называет эти плевóчки
жемчужиной?

И, надрываясь

в метелях полúденной пыли,

врывается к богу,

боится, что опоздал,

плачет,

целует ему жилистую руку,

просит —

чтоб обязательно была звезда! —

клянется —

не перенесет эту беззвездную мýку!

А после

ходит тревожный,

но спокойный наружно.

Говорит кому-то:

«Ведь теперь тебе ничего?

Не страшно?

Да?!»

Послушайте!

Ведь, если звезды

зажигают —

значит — это кому-нибудь нужно?

Значит — это необходимо,

чтобы каждый вечер

над крышами

загоралась хоть одна звезда?!

1914

А все-таки

Улица провалилась, как нос сифилитика.
Река – сладострастье, растекшееся в слюни.
Отбросив белье до последнего листика,
сады похабно развалились в июне.

Я вышел на площадь,
выжженный квартал
надел на голову, как рыжий парик.
Людам страшно – у меня изо рта
шевелит ногами непрожеванный крик.

Но меня не осудят, но меня не облают,
как пророку, цветами устелят мне след.
Все эти, провалившиеся носами, знают:
я – ваш поэт.

Как трактир, мне страшен ваш страшный суд!
Меня одного сквозь горящие здания
проститутки, как святыню, на руках понесут
и покажут богу в свое оправдание.

И бог заплачет над моею книжкой!
Не слова – судороги, слипшиеся комом;
и побежит по небу с моими стихами под мышкой,

и будет, задыхаясь, читать их своим знакомым.

1914

Война объявлена

«Вечернюю! Вечернюю! Вечернюю!
Италия! Германия! Австрия!»
И на площадь, мрачно очерченную чернью,
багровой крови пролилась струя!

Морду в кровь разбила кофейня,
зверьим криком багрима:
«Отравим кровью игры Рейна!
Гро́ма́ми ядер на мрамор Рима!»

С неба, изодранного о штыков жала,
слёзы звезд просеивались, как мука́ в сите,
и подошвами сжатая жалость визжала:
«Ах, пустите, пустите, пустите!»

Бронзовые генералы на граненом цоколе
молили: «Раскуйте, и мы поедем!»
Прощающейся конницы поцелуи цокали,
и пехоте хотелось к убийце – победе.

Громоздящемуся городу урбидился во сне
хохочущий голос пушечного баса,
а с запада падает красный снег
сочными клочьями человеческого мяса.

Вздувается у площади за ротой рота,
у злящейся на лбу вздуваются вены.
«Постойте, шашки о шелк кокоток
вытрем, вытрем в бульварах Вены!»

Газетчики надрывались: «Купите вечернюю!
Италия! Германия! Австрия!»
А из ночи, мрачно очерченной чернью,
багровой крови лилась и лилась струя.

20 июля 1914 г.

Мама и убитый немцами вечер

По черным улицам белые матери
судорожно простерлись, как по гробу газет.
Вплакались в орущих о побитом неприятеле:
«Ах, закройте, закройте глаза газет!»
Письмо.

Мама, громче!
Дым.
Дым.
Дым еще!
Что вы мямлите, мама, мне?
Видите —
весь воздух вымощен
громыхающим под ядрами камнем!
Ма – а – а – ма!
Сейчас притащили израненный вечер.
Крепился долго,
кургузый,
шершавый,
и вдруг, —
надломивши тучные плечи,
расплакался, бедный, на шее Варшавы.
Звезды в платочках из синего ситца
визжали:

«Убит,
дорогой,
дорогой мой!»

И глаз новолуння страшно косится
на мертвый кулак с зажатой обоймой.

Сбежались смотреть литовские села,
как, поцелуем в обрубок вкована,
слезя золотые глаза костелов,
пальцы улиц ломала Ковна.

А вечер кричит,
безногий,
безрукий:

«Неправда,
я еще могу-с —
хе! —

выбрыцав шпоры в горячей мазурке,
выкрутить русский ус!»

Звонок.

Что вы,
мама?

Белая, белая, как на гробе газет.

«Оставьте!

О нем это,
об убитом, телеграмма.

Ах, закройте,
закройте глаза газет!»

Скрипка и немножко нервно

Скрипка издергалась, упрашивая,
и вдруг разревелась
так по-детски,
что барабан не выдержал:
«Хорошо, хорошо, хорошо!»

А сам устал,
не дослушал скрипкиной речи,
шмыгнул на горящий Кузнецкий
и ушел.

Оркестр чужо смотрел, как
выплакивалась скрипка

без слов,
без такта,
и только где-то
глупая тарелка
вылязгивала:

«Что это?»

«Как это?»

А когда геликон —
меднорожий,
потный,
крикнул:

«Дура,
плакса,

вытри!» —
я встал,
шатаясь полез через ноты,
сгибающиеся под ужасом пюпитры,
зачем-то крикнул:
«Боже!»,
Бросился на деревянную шею:
«Знаете что, скрипка?
Мы ужасно похожи:
я вот тоже
ору —
а доказать ничего не умею!»
Музыканты смеются:
«Влип как!
Пришел к деревянной невесте!
Голова!»
А мне — наплевать!
Я — хороший.
«Знаете что, скрипка?
Давайте —
будем жить вместе!
А?»

1914

Я и Наполеон

Я живу на Большой Пресне,
36, 24.

Место спокойненькое.

Тихонькое.

Ну?

Кажется – какое мне дело,

что где-то

в буре-мире

взяли и выдумали войну?

Ночь пришла.

Хорошая.

Вкрадчивая.

И чего это барышни некоторые

дрожат, пугливо поворачивая

глаза громадные, как прожекторы?

Уличные толпы к небесной влаге

припали горящими устами,

а город, вытрепав ручонки-флаги,

молится и молится красными крестами.

Простоволосая церковка бульварному

изголовью

припала, – набитый слезами куль, —

а у бульвара цветники истекают кровью,

как сердце, изодранное пальцами пуль.

Тревога жиреет и жиреет,
жрет зачерствевший разум.

Уже у Ноева оранжереи
покрылись смертельно-бледным газом!

Скажите Москве —
пускай удержится!

Не надо!

Пусть не трясется!

Через секунду

встречу я

неб самодержца, —

возьму и убью солнце!

Видите!

Флаги по небу полощет.

Вот он!

Жирен и рыж.

Красным копытом грохнув о площадь,
въезжает по трупам крыш!

Тебе,

орущему:

«Разрушу,

разрушу!»,

вырезавшему ночь из окровавленных карнизов,

я,

сохранивший бесстрашную душу,

бросаю вызов!

Идите, изъеденные бессонницей,
сложите в костер лица!
Все равно!
Это нам последнее солнце —
солнце Аустерлица!

Идите, сумасшедшие, из России, Польши.
Сегодня я – Наполеон!
Я полководец и больше.
Сравните:
я и – он!

Он раз чуме приблизился тронем,
смелостью смерть поправ, —
я каждый день иду к зачумленным
по тысячам русских Яфф!
Он раз, не дрогнув, стал под пули
и славится столетий сто, —
а я прошел в одном лишь июле
тысячу Аркольских мостов!
Мой крик в граните времени выбит,
и будет греметь и гремит
оттого, что
в сердце, выжженном, как Египет,
есть тысяча тысяч пирамид!

За мной, изъеденные бессонницей!
Выше!
В костер лица!

Здравствуй,
мое предсмертное солнце,
солнце Аустерлица!
Люди!
Будет!
На солнце!
Прямо!
Солнце съжится аж!
Громче из сжатого горла храма
хрипи, похоронный марш!
Люди!
Когда канонизируете имена
погибших,
меня известней, —
помните:
еще одного убила война —
поэта с Большой Пресни!

1915

Вам!

Вам, проживающим за оргией оргию,
имеющим ванную и теплый клозет!
Как вам не стыдно о представленных к Георгию
вычитывать из столбцов газет?!

Знаете ли вы, бездарные, многие,
думающие, нажраться лучше как, —
может быть, сейчас бомбой ноги
выдрало у Петрова поручика?..

Если б он, приведенный на убой,
вдруг увидел, израненный,
как вы измазанной в котлете губой
похотливо напеваете Северянина!

Вам ли, любящим баб да блюда,
жизнь отдавать в угоду?!
Я лучше в баре блядям буду
подавать ананасную воду!

1915

Гимн судье

По Красному морю плывут каторжане,
трудом выгребая галеру,
рыком покрыв кандальное ржанье,
орут о родине Перу.

О рае Перу орут перуанцы,
где птицы, танцы, бабы
и где над венцами цветов померанца
были до небес баобабы.

Банан, ананасы! Радостей груды!
Вино в запечатанной посуде...
Но вот неизвестно зачем и откуда
на Перу наперли судьи!

И птиц, и танцы, и их перуанок
кругом обложили статьями.
Глаза у судьи – пара жестянок
мерцает в помойной яме.

Попал павлин оранжево-синий
под глаз его строгий, как пост, —
и вылинял моментально павлиний
великолепный хвост!

А возле Перу летали по прерии
птички такие – колибри;
судья поймал и пух и перья
бедной колибри выбрил.

И нет ни в одной долине ныне
гор, вулканом горящих.
Судья написал на каждой долине:
«Долина для некурящих».

В бедном Перу стихи мои даже
в запрете под страхом пыток.
Судья сказал: «Те, что в продаже,
тоже спиртной напиток».

Экватор дрожит от кандалных звонов.
А в Перу бесптичье, безлюдье...
Лишь, злобно забившись под своды законов,
живут унылые судьи.

А знаете, все-таки жаль перуанца.
Зря ему дали галеру.
Судьи мешают и птице, и танцу,
и мне, и вам, и Перу.

Гимн ученому

Народонаселение всей империи —
люди, птицы, сороконожки,
ощетинив щетину, выперев перья,
с отчаянным любопытством висят на окошке.

И солнце интересуется, и апрель еще,
даже заинтересовало трубочиста черного
удивительное, необыкновенное зрелище —
фигура знаменитого ученого.

Смотрят: и ни одного человеческого качества.
Не человек, а двуногое бессилие,
с головой, откусанной начисто
трактатом «О бородавках в Бразилии».

Вгрызлись в букву едящие глаза, —
ах, как букву жалко!
Так, должно быть, жевал вымирающий ихтиозавр
случайно попавшую в челюсти фиалку.

Искривился позвоночник, как оглоблей
ударенный,
но ученому ли думать о пустяковом изъяне?
Он знает отлично написанное у Дарвина,

что мы — лишь потомки обезьяны.

Просочится солнце в крохотную щелку,
как маленькая гноющаяся ранка,
и спрячется на пыльную полку,
где громоздится на банке банка.

Сердце девушки, вываренное в иоде.
Окаменелый обломок позапрошлого лета.
И еще на булавке что-то вроде
засушенного хвоста небольшой кометы.

Сидит все ночи. Солнце из-за домишки
опять ослабилось на людские безобразия,
и внизу по тротуарам опять пригодишки
деятельно ходят в гимназии.

Проходят красноухие, а ему не нудно,
что растет человек глуп и покорен;
ведь зато он может ежесекундно
извлекать квадратный корень.

1915

Военно-морская любовь

По морям, играя, носится
с миноносцем миноносица.

Льнет, как будто к меду осочка,
к миноносцу миноносочка.

И конца б не довелось ему,
благодару миноносьему.

Вдруг прожектор, вздев на нос очки,
впился в спину миноносочки.

Как взревет медноголосина:
«Р-р-р-астакая миноносина!»

Прямо ль, влево ль, вправо ль бросится,
а сбежала миноносица.

Но ударить удалось ему
по ребру по миноносьему.

Плач и вой морями носится:
овдовела миноносица.

И чего это несносен нам
мир в семействе миноносином?

1915

Гимн критику

От страсти извозчика и разговорчивой прачки
невзрачный детеныш в результате вытек.

Мальчик – не мусор, не вывезешь на тачке.

Мать поплакала и назвала его: критик.

Отец, в разговорах вспоминая родословные,
любил поспорить о правах материнства.

Такое воспитание, светское и салонное,
оберегало мальчика от уклона в свинство.

Как роется дворником к кухарке сапа,
щебетала мамаша и кальсоны мыла;
от мамыши мальчик унаследовал запах
и способность вникать легко и без мыла.

Когда он вырос приблизительно с полено
и веснушки рассыпались, как рыжики на блюде,
его изящным ударом колена
повели на улицу, чтобы вышел в люди.

Много ль человеку нужно? – Клочок —
небольшие штаны и что-нибудь из хлеба.
Он носом, хорошеньким, как построчный пятачок,
обнюхал приятное газетное небо.

И какой-то обладатель какого-то имени
нежнейший в двери услышал стук.
И скоро критик из имениного вымени
выдоил и брюки, и булку, и галстук.

Легко смотреть ему, обутому и одетому,
молодых искателей изысканные игры
и думать: хорошо – ну, хотя бы этому
потрогать зубенками шальные икры.

Но если просочится в газетной сети
о том, как велик был Пушкин или Дант,
кажется, будто разлагается в газете
громадный и жирный официант.

И когда вы, наконец, в столетний юбилей
продерете глазки в кадильной гари,
имя его первое, голубицы белей,
чисто засияет на поднесенном портсигаре.

Писатели, нас много. Собирайте миллион.
И богадельню критикам построим в Ницце.
Вы думаете – легко им наше белье
ежедневно прополаскивать в газетной странице!

Гимн обеду

Слава вам, идущие обедать миллионы!
И уже успевшие наестся тысячи!
Выдумавшие каши, бифштексы, бульоны
и тысячи блюд всяческой пищи.

Если ударами ядер
тысячи Реймсов разбить удалось бы —
по-прежнему будут ножки у пулярд,
и дышать по-прежнему будет ростбиф!

Желудок в панаме! Тебя ль заразят
величием смерти для новой эры?!
Желудку ничем болеть нельзя,
кроме аппендицита и холеры!

Пусть в сале совсем потонут зрачки —
все равно их зря отец твой выделал;
на слепую кишку хоть надень очки,
кишка все равно ничего б не видела.

Ты так не хуже! Наоборот,
если б рот один, без глаз, без затылка —
сразу могла б поместиться в рот
целая фаршированная тыква.

Лежи спокойно, безглазый, безухий,
с куском пирога в руке,
а дети твои у тебя на брюхе
будут играть в крокет.

Спи, не тревожась картиной крови
и тем, что пожаром мир опоясан, —
молоком богаты силы коровьи,
и безмерно богатство бычьего мяса.

Если взрежется последняя шея бычья
и знак последний с камня серого,
ты, верный раб твоего обычая,
из звезд сфабрикуешь консервы.

А если умрешь от котлет и бульонов,
на памятнике прикажем высечь:
«Из стольких-то и стольких-то котлет миллионов —
твоих четыреста тысяч».

1915

Теплое слово кое-каким порокам (почти гимн)

Ты, который трудишься, сапоги ли чистишь,
бухгалтер или бухгалтерова помощница,
ты, чье лицо от дел и тощищи
помятое и зеленое, как трешница.

Портной, например. Чего ты ради
эти брюки принес к примерке?
У тебя совершенно нету дядей,
а если есть, то небогатый, не мрет и не в Америке.

Говорю тебе я, начитанный и умный:
ни Пушкин, ни Щепкин, ни Врубель
ни строчке, ни позе, ни краске надуманной
не верили – а верили в рубль.

Живешь утюжить и ножницами раниться.
Уже сединою бороду пёревил,
а видел ты когда-нибудь, как померанец
растет себе и растет на дереве?

Потеете и трудитесь, трудитесь и потеете,
вытелятся и вытянутся какие-то дети,
мальчики – бухгалтеры, девочки – помощницы,

будут потеть, как потели эти.

А я вчера, не насилуемый никем,
просто,
снял в «железку» по шестой руке
три тысячи двести – со ста.

Ничего, если, приложивши палец ко рту,
зубоскалят, будто помог тем,
что у меня такой-то и такой-то туз
мягко помечен ногтем.

Игроческие очи из ночи
блестели, как два рубля,
я разгружал кого-то, как настойчивый рабочий
разгружает трюм корабля.

Слава тому, кто первый нашел,
как без труда и хитрости,
чистоплотно и хорошо
карманы ближнему вывернуть и вытрясти!

И когда говорят мне, что труд, и еще, и еще,
будто хрен натирают на заржавленной терке,
я ласково спрашиваю, взяв за плечо:
«А вы прикупаете к пятерке?»

Вот так я сделался собакой

Ну, это совершенно невыносимо!
Весь как есть искусан злобой.
Злюсь не так, как могли бы вы:
как собака лицо луны гололобой —
взял бы
и все обвыл.

Нервы, должно быть...
Выйду,
погуляю.
И на улице не успокоился ни на ком я.
Какая-то прокричала про добрый вечер.
Надо ответить:
она — знакомая.
Хочу.
Чувствую —
не могу по-человечьи.

Что это за безобразие!
Сплю я, что ли?
Ощупал себя:
такой же, как был,
лицо такое же, к какому привык.
Тронул губу,

а у меня из-под губы —
клык.

Скорее закрыл лицо, как будто сморкаюсь.
Бросился к дому, шаги удвоив.
Бережно огибаю полицейский пост,
вдруг оглушительное:
«Городовой!
Хвост!»

Провел рукой и – остолбенел!
Этого-то,
всяких клыков почище,
я и не заметил в бешеном скаче:
у меня из-под пиджака
развеерился хвостище
и вьется сзади,
большой, собачий.

Что теперь?
Один заорал, толпу растя.
Второму прибавился третий, четвертый.
Смяли старушонку.
Она, крестясь, что-то кричала про черта.

И когда, ошетинив в лицо усища-веники,
толпа навалилась,
огромная,
злая,

я стал на четвереньки
и залаял:
Гав! гав! гав!

1915

Великолепные нелепости

Бросьте!

Конечно, это не смерть.

Чего ей ради ходить по крепости?

Как вам не стыдно верить
нелепости?!

Просто именинник устроил карнавал,

выдумал для шума стрельбу и тир,

а сам, по-жабьи присев на вал,

вымаргивается, как из мортир.

Ласков хозяина бас,

просто – похож на пушечный.

И не от газа маска,

а ради шутки игрушечной.

Смотрите!

Небо мерить

выбежала ракета.

Разве так красиво смерть

бежала б в небе паркета!

Ах, не говорите:

«Кровь из раны».

Это – дико!

Просто избранных из бранных

одаривали гвоздикой.

Как же иначе?
Мозг не хочет понять
и не может:
у пушечных шей
если не целоваться,
то — для чего же
обвиты руки траншей?
Никто не убит!
Просто — не выстоял.
Лег от Сены до Рейна.
Оттого что цветет,
одуряет желтолистая
на клумбах из убитых гангрена.
Не убиты,
нет же,
нет!
Все они встанут
просто —
вот так,
вернутся
и, улыбаясь, расскажут жене,
какой хозяин весельчак и чудак.
Скажут: не было ни ядр, ни фугасов
и, конечно же, не было крепости!
Просто именинник выдумал массу
каких-то великолепных нелепостей!

Гимн взятке

Пришли и славословим покорненько
тебя, дорогая взятка,
все здесь, от младшего дворника
до того, кто в золото заткан.

Всех, кто за нашей десницей
посмеет с укором глаза́ весть,
мы так, как им и не снится,
накажем мерзавцев за зависть.

Чтоб больше не смела вздыматься хула,
наденем мундиры и медали
и, выдвинув вперед убедительный кулак,
спросим: «А это видали?»

Если сверху смотреть – разинешь рот.
И вызывает от радости каждая мышца.
Россия – сверху – прямо огород,
вся наливается, цветет и пышится.

А разве видано где-нибудь, чтоб стояла коза
и Лезть в огород козе лень?..
Было бы время, я б доказал,
которые – коза и зелень.

И нечего доказывать – идите и берите.
Умолкнет газетная нечисть ведь.
Как баранов, надо стричь и брить их.
Чего стесняться в своем отечестве?

1915

Внимательное отношение к взяточникам

Неужели и о взятках писать поэтам!
Дорогие, нам некогда. Нельзя так.
Вы, которые взяточники,
хотя бы поэтому,
не надо, не берите взятки.
Я, выколачивающий из строчек штаны, —
конечно, как начинающий, не очень часто,
я — еще и российский гражданин,
беззаветно чтущий и чиновника и участок.
Прихожу и выплакиваю все мои просьбы,
приникши щекою к светлому кителю.
Думает чиновник: «Эх, удалось бы!
Этак на двести птичку вытелю».
Сколько раз под сень чинов ник,
приносил обиды им.
«Эх, удалось бы, — думает чиновник, —
этак на триста бабочку выдоим».
Я знаю, надо и двести и триста вам —
возьмут, все равно, не те, так эти;
и руганью ни одного не обижу пристава:
может быть, у пристава дети.
Но лишний труд — доить поодиночно,
вы и так ведете в работе года.

Вот что я выдумал для вас нарочно —
Господа!

Взломайте шкапы, сундуки и ларчики,
берите деньги и драгоценности мамашины,
чтоб последний мальчонка в потненьком кулачике
зажал сбереженный рубль бумажный.

Костюмы соберите. Чтоб не было рваных.
Мамаша! Вытряхивайтесь из шубы беличьей!

У старых брюк обшарьте карманы —
в карманах копеек на сорок мелочи.

Все это узлами уложим и свяжем,
а сами, без денег и платья,
придем, поклонимся и скажем:

Нате!

Что нам деньги, транжирам и мотам!

Мы даже не знаем, куда нам деть их.

Берите, милые, берите, чего там!

Вы наши отцы, а мы ваши дети.

От холода не попадая зубом на зуб,
станем голые под голые небеса.

Берите, милые! Но только сразу.

Чтоб об этом больше никогда не писать.

1915

Чудовищные похороны

Мрачные до черного вышли люди,
тяжко и чинно выстроились в городе,
будто сейчас набираться будет
хмурых монахов черный орден.

Траур воронов, выкаймленный под окна,
небо, в бурю крашеное, —
все было так подобрано и подогнано,
что волей-неволей ждалось страшное.

Тогда разверзлась, кряхтя и нехотя,
пыльного воздуха сухая охра,
вылез из воздуха и начал ехать
тихий катафалк чудовищных похорон.

Встревоженная ожила глаз масса,
гору взоров в гроб бросили.
Вдруг из гроба прыснула гримаса,
после —

крик: «Хоронят умерший смех!» —
из тысячегрудого меха
гремел омиллионенный множеством эх
за гробом, который ехал.

И тотчас же отчаяннейшего плача ножи
врезались, заставив ничего не понимать.
Вот за гробом, в плаче, старуха-жизнь, —
усопшего смеха седая мать.

К кому же, к кому вернуться назад ей?
Смотрите: в лысине — тот —
это большой, носатый
плачет армянский анекдот.

Еще не забылось, как выкривил рот он,
а за ним ободранная, куцая,
визжа, бежала острота.
Куда — если умер — уткнуться ей?

Уже до неба плачей глыба.
Но еще,
еще откуда-то плачики —
это целые полчища улыбочек и улыбок
ломали в горе хрупкие пальчики.

И вот сквозь строй их, смокших в один
сплошной изрыдавшийся Гаршин,
вышел ужас — вперед пойти —
весь в похоронном марше.

Размокло лицо, стало — кашица,
смятая морщинками на выхмуренном лбу,

а если кто смеется – кажется,
что ему разодрали губу.

1915

Эй!

Мокрая, будто ее облизали,
толпа.
Прокисший воздух плесенью веет.
Эй!

Россия,
нельзя ли
чего поновее?

Блажен, кто хоть раз смог,
хотя бы закрыв глаза,
забыть вас,
ненужных, как насморк,
и трезвых,
как нарзан.

Вы все такие скучные, точно
во всей вселенной нету Капри.
А Капри есть.
От сияний цветочных
весь остров, как женщина в розовом капоре.

Помчим поезда к берегам, а берег
забудем, качая тела в пароходах.
Наоткрываем десятки Америк.

В неведомых полюсах вынежим отдых.

Смотри, какой ты ловкий,
а я —
вон у меня рука груба как.
Быть может, в турнирах,
быть может, в боях
я был бы самый искусный рубака.

Как весело, сделав удачный удар,
смотреть, растопырил ноги как.
И вот врага, где предку
туда
отправила шпаги логика.

А после в огне раззолоченных зал,
забыв привычку спанья,
всю ночь напролет провести,
глаза
уткнув в желтоглазый коньяк.

И, наконец, оцетинясь, как еж,
с похмельем придя поутру,
неверной любимой грозить, что убьешь
и в море выбросишь труп.

Сорвем ерунду пиджаков и манжет,
крахмальные груди раскрасим под панцирь,
загнем рукоять на столовом ноже,

и будем все хоть на день, да испанцы.

Чтоб все, забыв свой северный ум,
любились, дрались, волновались.

Эй!

Человек,
землю саму
зови на вальс!

Возьми и небо заново вышей,
новые звезды придумай и выставь,
чтоб, исступленно царапая крыши,
в небо карабкались души артистов.

1916

Ко всему

Нет.

Это неправда.

Нет!

И ты?

Любимая,

за что,

за что же?!

Хорошо —

я ходил,

я дарил цветы,

я ж из ящика не выкрал серебряных ложек!

Белый,

сшатался с пятого этажа.

Ветер щеки ожег.

Улица клубилась, визжа и ржа.

Похотливо взлазил рожок на рожок.

Вознес над суетой столичной одури

строгое —

древних икон —

чело.

На теле твоём — как на смертном бдре —

сердце

дни

кончило.

В грубом убийстве не пачкала рук ты.

Ты

уронила только:

«В мягкой постели

он,

фрукты,

вино на ладони ночного столика».

Любовь!

Только в моем

воспаленном

мозгу была ты!

Глупой комедии остановите ход!

Смотрите —

срываю игрушки-латы

я,

величайший Дон-Кихот!

Помните:

под ношей креста

Христос

секунду

усталый стал.

Толпа орала:

«Марала!

Мааарррааала!»

Правильно!
Каждого,
кто
об отдыхе взмолится,
оплюй в его весеннем дне!
Армии подвижников, обреченным добровольцам
от человека пощады нет!

Довольно!
Теперь —
клянусь моей языческой силою! —
дайте
любую
красивую,
юную, —
души не растрочу,
изнасилую
и в сердце насмешку плюну ей!

Око за око!

Севы мести в тысячу крат жни!
В каждое ухо ввой:
вся земля —
каторжник
с наполовину выбритой солнцем головой!

Око за око!

Убьете,
похороните —
выроюсь!
Об камень обточатся зубов ножи еще!
Собакой забьюсь под нары казарм!
Буду,
бешеный,
вгрызаться в ножища,
пахнущие потом и базаром.

Ночью вскóчите!
Я
звал!
Белым быком возрос над землей:
Муууу!
В ярмо замучена шея-язва,
над язвой смерчи мух.

Лосем обернусь,
в провода
впутаю голову ветвистую
с налитыми кровью глазами.
Да!
Затравленным зверем над миром выстою.

Не уйти человеку!
Молитва у рта, —
лег на плиты просящ и грязен он.
Я возьму

намалую
на царские врата
на божьем лице Разина.

Солнце! Лучей не кинь!
Сохните, реки, жажду утолить не дав ему, —
чтоб тысячами рождались мои ученики
трубить с площадей анафему!

И когда,
наконец,
на веков верхй став,
последний выйдет день им, —
в черных душах убийц и анархистов
зажгусь кровавым видением!

Светает.
Все шире разверзается неба рот.
Ночь
пьет за глотком глоток он.
От окон зарево.
От окон жар течет.
От окон густое солнце льется на спящий город.
Святая месть моя!
Опять
над уличной пылью
ступенями строк ввысь поведи!
До края полное сердце
вылью

в исповеди!

Грядущие люди!

Кто вы?

Вот – я,

весь

боль и ушиб.

Вам завещаю я сад фруктовый

моей великой души.

1916

Лиличка!

(Вместо письма)

Дым табачный воздух выел.
Комната —
глава в крученыховском аде.
Вспомни —
за этим окном
впервые
руки твои, исступленный, гладил.
Сегодня сидишь вот,
сердце в железе.
День еще —
выгонишь,
может быть, изругав.
В мутной передней долго не влезет
сломанная дрожью рука в рукав.
Выбегу,
тело в улицу брошу я.
Дикий,
обезумлюсь,
отчаяньем иссечась.
Не надо этого,
дорогая,
хорошая,
дай простимся сейчас.

Все равно
любовь моя —
тяжкая гиля ведь —
висит на тебе,
куда ни бежала б.
Дай в последнем крике выреветь
горечь обиженных жалоб.
Если быка трудом умóрят —
он уйдет,
разляжется в холодных водах.
Кроме любви твоей,
мне
нету моря,
а у любви твоей и плачем не вымолишь отдых.
Захочет покоя уставший слон —
царственный ляжет в опожаренном песке.
Кроме любви твоей,
мне
нету солнца,
а я и не знаю, где ты и с кем.
Если б так поэта измучила,
он
любимую на деньги б и славу выменял,
а мне
ни один не радостен звон,
кроме звона твоего любимого имени.
И в пролет не брошусь,
и не выпью яда,
и курок не смогу над виском нажать.

Надо мною,
кроме твоего взгляда,
не властно лезвие ни одного ножа.
Завтра забудешь,
что тебя короновал,
что душу цветущую любовью выжег,
и суетных дней взметенный карнавал
растреплет страницы моих книжек...
Слов моих сухие листья ли
заставят остановиться,
жадно дыша?

Дай хоть
последней нежностью выстелить
твой уходящий шаг.

26 мая 1916 г., Петроград

Надоело

Не высидел дома.
Анненский, Тютчев, Фет.
Опять,
тоскою к людям ведомый,
иду
в кинематографы, в трактиры, в кафе.

За столиком.
Сияние.
Надежда сияет сердцу глупому.
А если за неделю
так изменился россиянин,
что щеки сожгу огнями губ ему.

Осторожно поднимаю глаза,
роюсь в пиджачной куче.
«Назад,
наз-зад,
назад!»
Страх орет из сердца,
Мечется по лицу, безнадежен и скучен.

Не слушаюсь.
Вижу,

вправо немножко,
неведомое ни на суше, ни в пучинах вод,
старательно работает над телячьей ножкой
загадочнейшее существо.

Глядишь и не знаешь: ест или не ест он.
Глядишь и не знаешь: дышит или не дышит он.
Два аршина безлицего розоватого теста:
хоть бы метка была в уголочке вышита.

Только колышутся спадающие на плечи
мягкие складки лоснящихся щек.
Сердце в исступлении,
рвет и мечет.
«Назад же!
Чего еще?»

Влево смотрю.
Рот разинул.
Обернулся к первому, и стало и́наче:
для увидевшего вторую образину
первый —
воскресший Леонардо да Винчи.

Нет людей.
Понимаете
крик тысячедневных мук?
Душа не хочет немая идти,
а сказать кому?

Брошусь на землю,
камня корою
в кровь лицо изотру, слезами асфальт омывая.
Истомившимися по ласке губами тысячью поцелуев
покрою
умную морду трамвая.

В дом уйду.
Прилипну к обоям.
Где роза есть нежнее и чайнее?
Хочешь —
тебе
рябое
прочту «Простое как мычание»?

Для истории

Когда все расселятся в раю и в аду,
земля итогами подведена будет —
помните:
в 1916 году
из Петрограда исчезли красивые люди.

1916

Дешевая распродажа

Женщину ль опутываю в трогательный роман,
просто на прохожего гляжу ли —
каждый опасливо придерживает карман.

Смешные!

С нищих —
что с них сжулить?

Сколько лет пройдет, узнают пока —
кандидат на сажень городского морга —
я
бесконечно больше богат,
чем любой Пьерпонт Мбрган.

Через столько-то, столько-то лет
— словом, не выживу —
с голода сдохну ль,
стану ль под пистолет —
меня,
сегодняшнего рыжего,
профессора́ разучат до последних иот,
как,
когда,
где явлен.

Будет
с кафедры лобастый идиот
что-то молоть о богодьяволе.

Склóнится толпа,
лебезяща,
суетна.
Даже не узнаете —
я не я:
облысевшую голову разрисует она
в рога или в сияния.

Каждая курсистка,
прежде чем лечь,
она
не забудет над стихами моими замлеть.
Я – пессимист,
знаю —
вечно
будет курсистка жить на земле.

Слушайте ж:

все, чем владеет моя душа,
— а ее богатства пойдите смерьте ей! —
великолепие,
что в вечность украсит мой шаг,
и самое мое бессмертие,
которое, громыхая по всем векам,

коленипреклоненных соберет мировое вече, —
все это – хотите? —
сейчас отдам
за одно только слово
ласковое,
человечье.

Люди!

Пыля проспекты, топоча рожь,
идите со всего земного лона.
Сегодня
в Петрограде
на Надеждинской
ни за грош
продается драгоценнейшая корона.

За человечье слово —
не правда ли, дешево?
Пойди,
попробуй, —
как же,
найдешь его!

1916

Себе, любимому, посвящает эти строки автор

Четыре.

Тяжелые, как удар.

«Кесарево кесарю – богу богово».

А такому,

как я,

ткнуться куда?

Где для меня уготовано логово?

Если б был я

маленький,

как Великий океан, —

на цыпочки б волн встал,

приливом ласкался к луне бы.

Где любимую найти мне,

такую, как и я?

Такая не уместилась бы в крохотное небо!

О, если б я нищ был!

Как миллиардер!

Что деньги душе?

Ненасытный вор в ней.

Моих желаний разнузданной орде

не хватит золота всех Калифорний.

Если б быть мне косноязычным,
как Дант
или Петрарка!
Душу к одной зажечь!
Стихами велеть истлеть ей!
И слова
и любовь моя —
триумфальная арка:
пышно,
бесследно пройдут сквозь нее
любовницы всех столетий.

О, если б был я
тихий,
как гром, —
ныл бы,
дрожью объял бы земли одряхлевший скит.
Я
если всей его мощью
выреву голос огромный —
кометы заломят горящие руки,
бросятся вниз с тоски.

Я бы глаз лучами грыз ночи —
о, если б был я
тусклый,
как солнце!
Очень мне надо
сияньем моим поить

земли отощавшее лонце!

Пройду,
любовищу мою волоча.
В какой ночи,
бредовый,
недужной,
какими Голиафами я зачѣт —
такой большой
и такой ненужный?

1916

России

Вот иду я,
заморский страус,
в перьях строф, размеров и рифм.
Спрятать голову, глупый, стараюсь,
в оперенье звенящее врыв.

Я не твой, снеговая уродина.
Глубже
в перья, душа, уложись!
И иная окажется родина,
вижу —
выжжена южная жизнь.

Остров зноя.
В пальмы овазился.
«Эй,
дорогу!»
Выдумку мнут.
И опять
до другого оазиса
вью следы песками минут.

Иные жмутся —
уйти б,

не кусается ль? —
Иные изогнуты в низкую лесть.
«Мама,
а мама,
несет он яйца?» —
«Не знаю, душечка.
Должен бы несть».

Ржут этажия.
Улицы плятятся.
Обдают водой холода́.
Весь истыканный в дымы и в пальцы,
переваливаю года.
Что ж, бери меня хваткой мёрзкой!
Бритвой ветра перья обрей.
Пусть исчезну,
чужой и заморский,
под неистовства всех декабрей.

1916

Революция (Поэтохроника)

26 февраля. Пьяные, смешанные с полицией,
солдаты стреляли в народ.

27-е.

Разлился по блеснам дул и лезвий
рассвет.

Рдел багрян и долог.

В промозглой казарме

суровый

трезвый

молился Волынский полк.

Жестоким

солдатским богом божились

роты,

бились об пол головой многолобой.

Кровь разжигалась, висками жилясь.

Руки в железо сжимались злобой.

Первому же,

приказавшему —

«Стрелять за голод!» —

заткнули пулей орущий рот.

Чье-то – «Смирно!»

Не кончил.

Заколот.

Вырвалась городу буря рот.

9 часов.

На своем постоянном месте
в Военной автомобильной школе
стоим,

зажатые казарм оградой.

Рассвет растет,

сомнением колет,

предчувствием страха и радуя.

Окну!

Вижу —

оттуда,

где режется небо

дворцов иззубленной линией,

взлетел,

простерся орел самодержца,

черней, чем раньше,

злей,

орлинее.

Сразу —

люди,

лошади,
фонари,
дома
и моя казарма
толпами
пó сто
ринулись на улицу.
Шагами ломаемая, звенит мостовая.
Уши крушит невероятная поступь.

И вот неведомо,
из пенья толпы ль,
из рвущейся меди ли труб гвардейцев
нерукотворный,
сияньем пробивая пыль,
образ возрос.
Горит.
Рдеется.

Шире и шире крыл окружие.
Хлеба нужней,
воды изжажданной,
вот она:
«Граждане, за ружья!
К оружию, граждане!»

На крыльях флагов
стоглавой лавою
из горла города ввысь взлетела.

Штыков зубами вгрызлась в двуглавое
орла императорского черное тело.

Граждане!

Сегодня рушится тысячелетнее «Прежде».

Сегодня пересматривается миров основа.

Сегодня

до последней пуговицы в одежде

жизнь переделаем снова.

Граждане!

Это первый день рабочего потопа.

Идем

запутавшемуся миру на выручу!

Пусть толпы в небо вбивают топот!

Пусть флоты ярость сиренами вырывают!

Горе двуглавному!

Пенится пенье.

Пьянит толпу.

Площади плещут.

На крохотном «форде»

мчим,

обгоняя погони пуль.

Взрывом гудков продираемся в городе.

В тумане.

Улиц река дымит.

Как в бурю дюжина груженных барж,

над баррикадами
плывет, громохатая, марсельский марш.

Первого дня огневое ядро
жужжа скатилось за купол Думы.
Нового утра новую дрожь
встречаем у новых сомнений в бреду мы.

Что будет?
Их ли из окон выломим,
или на нарах
ждать,
чтоб снова
Россию
могилами
выгорбил монарх?!

Душу глушу об выстрел резкий.
Дальше,
в шинели орыт.
Рассыпав дома в пулеметном треске,
город грохочет.
Город горит.

Везде языки.
Взовьются и лягут.
Вновь взвиваются, искры рассея.
Это улицы,
взяв по красному флагу,

призывом зарев зовут Россию.

Еще!

О, еще!

О, ярче учи, краснаязыйкий оратор!

Зажми и солнца

и лун лучи

мстящими пальцами тысячерукого Марата!

Смерть двуглавному!

Каторгам в двери

ломись,

когтями ржавые выев.

Пучками черных орлиных перьев

подбитые падают городовые.

Сдается столицы горящий остов.

По чердакам раскинули поиск.

Минута близко.

На Троицкий мост

вступают толпы войск.

Скрип содрогает устои и скрепы.

Стиснулись.

Бьемся.

Секунда! —

и в лак

заката

с фортов Петропавловской крепости

взвился огнем революции флаг.

Смерть двуглавному!
Шеищи глав
рубите наотмашь!
Чтоб больше не бжил.
Вот он!
Падает!
В последнего из-за угла! – вцепился.
«Боже,
четыре тысячи в лоно твое прими!»

Довольно!
Радость трубите всеми голосами!
Нам
до бога
дело какое?
Сами
со святыми своих упокоим.

Что ж не поете?
Или
души задушены Сибирей саваном?
Мы победили!
Слава нам!
Сла-а-ав-в-ва нам!

Пока на оружии рук не разжали,
повелевается воля иная.

Новые несем земле скрижали
с нашего серого Синая.

Нам,
Поселянам Земли,
каждый Земли Поселянин родной.
Все
по станкам,
по конторам,
по шахтам братья.
Мы все
на земле
солдаты одной,
жизнь созидающей рати.
Пробеги планет,
держав бытие
подвластны нашим волям.
Наша земля.
Воздух – наш.
Наши звезд алмазные копи.
И мы никогда,
никогда!
никому,
никому не позволим!
землю нашу ядрами рвать,
воздух наш раздирать остриями отточенных
копий.

Чья злоба надвое землю сломала?

Кто вздыбил дымы над заревом боем?
Или солнца
одного
на всех мало?!

Или небо над нами мало голубое?!

Последние пушки грохочут в кровавых спорах,
последний штык заводы гранят.
Мы всех заставим рассыпать порох.
Мы детям раздарим мячи гранат.

Не трусость вопит под шинелью серою,
не крики тех, кому есть нечего;
это народа огромного громовое:
— Верую
величию сердца человеческого! —

Это над взбитой битвами пылью,
над всеми, кто грызся, в любви изверясь,
днесь
небывалой сбывается былью
социалистов великая ересь!

17 апреля 1917 г., Петроград

Сказка о красной шапочке

Жил да был на свете кадет.
В красную шапочку кадет был одет.

Кроме этой шапочки, доставшейся кадету,
ни черта в нем красного не было и нету.

Услышит кадет – революция где-то,
шапочка сейчас же на голове кадета.

Жили припеваючи за кадетом кадет,
и отец кадета, и кадетов дед.

Поднялся однажды преболяшущий ветер,
в ключья шапчонку изорвал на кадете.

И остался он черный. А видевшие это
волки революции сцапали кадета.

Известно, какая у волков диета.
Вместе с манжетами сожрали кадета.

Когда будете делать политику, дети,
не забудьте сказочку об этом кадете.

К ответу!

Гремит и гремит войны барабан.
Зовет железо в живых втыкать.
Из каждой страны
за рабом раба
бросают на сталь штыка.
За что?
Дрожит земля,
голодна,
раздета.
Выпарили человечество кровавой баней
только для того,
чтоб кто-то
где-то
разжился Албанией.
Сцепилась злость человеческих свор,
падает на мир за ударом удар
только для того,
чтоб бесплатно
Босфор
проходили чьи-то суда.
Скоро
у мира
не останется неполоманного ребра.
И душу вытащат.

И растопчут там ее
только для того,
чтоб кто-то
к рукам прибрал
Месопотамию.
Во имя чего
сапог
землю растаптывает скрипящ и груб?
Кто над небом боев —
свобода?
бог?
Рубль!
Когда же встанешь во весь свой рост,
ты,
отдающий жизнь свою им?
Когда же в лицо им бросишь вопрос:
за что воюем?

1917

«Ешь ананасы, рябчиков жуй...»

Ешь ананасы, рябчиков жуй,
день твой последний приходит, буржуй.

1917

Наш марш

Бейте в площади бунтов топот!
Выше, гордых голов гряда!
Мы разливом второго потопа
перемоем миров города.

Дней бык пег.
Медленна лет арба.
Наш бог бег.
Сердце наш барабан.

Есть ли наших золот небесней?
Нас ли сжалит пули оса?
Наше оружие – наши песни.
Наше золото – звенящие голоса.

Зеленью ляг, луг,
выстели дно дням.
Радуга, дай дуг
лет быстролётным коням.

Видите, скушно звезд небу!
Без него наши песни вьем.
Эй, Большая Медведица! требуй,
чтоб на небо нас взяли живьем.

Радости пей! Пой!
В жилах весна разлита.
Сердце, бей бой!
Грудь наша – медь литавр.

1917

Хорошее отношение к лошадям

Били копыта.

Пели будто:

– Гриб.

Грабь.

Гроб.

Груб. —

Ветром опита,

льдом обута,

улица скользила.

Лошадь на круп

грохнулась,

и сразу

за зевакой зевака,

штаны пришедшие Кузнецким клёшить,

сгрудились,

смех зазвенел и зазвякал:

– Лошадь упала! —

– Упала лошадь! —

Смеялся Кузнецкий.

Лишь один я

голос свой не вмешивал в вой ему.

Подошел

и вижу

глаза лошадиные...

Улица опрокинулась,
течет по-своему...

Подошел и вижу —
за каплицей каплица
по морде катится,
прячется в шерсти...

И какая-то общая
звериная тоска
плеща вылилась из меня
и расплылась в шелесте.
«Лошадь, не надо.
Лошадь, слушайте —
чего вы думаете, что вы их плоше?
Деточка,
все мы немножко лошади,
каждый из нас по-своему лошадь».
Может быть,
— старая —
и не нуждалась в няньке,
может быть, и мысль ей моя казалась пошла́,
только
лошадь
рванулась,
встала на́ ноги,
ржанула

и пошла.

Хвостом помахивала.

Рыжий ребенок.

Пришла веселая,

стала в стойло.

И все ей казалось —

она жеребенок,

и стоило жить,

и работать стоило.

1918

Ода революции

Тебе,
освищенная,
осмеянная батареями,
тебе,
изъязвленная злословием штыков,
восторженно возношу
над руганью реемой
оды торжественное
«О»!

О, звериная!
О, детская!
О, копеечная!
О, великая!

Каким названьем тебя еще звали?
Как обернешься еще, двуликая?
Стройной постройкой,
грудой развалин?
Машинисту,
пылью угля овечьному,
шахтеру, пробивающему толщи руд,
кадишь,
кадишь благоговейно,
славишь человеческий труд.

А завтра
Блаженный
стропила соборы
тщетно возносит, пощаду моля, —
твоих шестидюймовок тупорылые боры
взрывают тысячелетия Кремля.
«Слава».

Хрипит в предсмертном рейсе.
Визг сирен придушенно тонок.
Ты шлешь моряков
на тонущий крейсер,
туда,
где забытый
мяукал котенок.

А после!

Пьяной толпой орала.
Ус заливчатский закручен в форсе.
Прикладами гонишь седых адмиралов
вниз головой
с моста в Гельсингфорсе.
Вчерашние раны лижет и лижет,
и снова вижу вскрытые вены я.
Тебе обывательское
— о, будь ты проклята трижды! —
и мое,
поэтово
— о, четырежды славься, благословенная!

Приказ по армии искусства

Канительят стариков бригады

канитель одну и ту ж.

Товарищи!

На баррикады! —

баррикады сердец и душ.

Только тот коммунист истый,
кто мосты к отступлению сжег.

Довольно шагать, футуристы,
в будущее прыжок!

Паровоз построить мало —
накрутил колес и утек.

Если песнь не громит вокзала,
то к чему переменный ток?

Громоздите за звуком звук вы
и вперед,
поя и свища.

Есть еще хорошие буквы:

Эр,

Ша,

Ща.

Это мало — построить па́рами,
распушить по штанине канты.
Все совдепы не сдвинут армий,
если марш не дадут музыканты.

На улицу тащите рояли,
барабан из окна багром!
Барабан,
рояль раскрой ли,
но чтоб грохот был,
чтоб гром.
Это что – корпеть на заводах,
перемазать рожу в копоть
и на роскошь чужую
в отдых
осовелыми глазками хлопать.
Довольно грошовых истин.
Из сердца старое вытри.
Улицы – наши кисти.
Площади – наши палитры.
Книгой времени
тысячелистой
революции дни не воспеты.
На улицы, футуристы,
барабанщики и поэты!

1918

Радоваться рано

Будущее ищем.
Исходили вёрсты торцов.
А сами
расселились кладбищем,
придавлены плитами дворцов.
Белогвардейца
найдете – и к стенке.
А Рафаэля забыли?
Забыли Растрелли вы?
Время
пулям
по стенке музеев тенькать.
Стодюймовками глоток старье расстреливай!
Сеете смерть во вражьем стане.
Не попадись, капитала наймиты.
А царь Александр
на площади Восстаний
стоит?
Туда динамиты!
Выстроили пушки по опушке,
глухи к белогвардейской ласке.
А почему
не атакован Пушкин?
А прочие

генералы классики?
Старье охраняем искусства именем.
Или
зуб революций ступился о короны?
Скорее!
Дым развейте над Зимним —
фабрики макаронной!
Попалили денек-другой из ружей
и думаем —
старому нос утрем.
Это что!
Пиджак сменить снаружи —
мало, товарищи!
Выворачивайтесь нутром!

1918

Поэт рабочий

Орут поэту:
«Посмотреть бы тебя у токарного станка.
А что стихи?
Пустое это!
Небось работать – кишка тонка».
Может быть,
нам
труд
всяких занятий роднее.
Я тоже фабрика.
А если без труб,
то, может,
мне
без труб труднее.
Знаю,
не любите праздных фраз вы.
Рубите дуб – работать дабы.
А мы
не деревообделочники разве?
Голов людских обделываем дубы.
Конечно,
почтенная вещь – рыбачить.
Вытащить сеть.
В сетях осетры б!

Но труд поэтов – почтенный паче —
людей живых ловить, а не рыб.
Огромный труд – гореть над горном,
железа шипящие класть в закал.
Но кто же
в безделье бросит укор нам?
Мозги шлифуем рашпилем языка.
Кто выше – поэт
или техник,
который
ведет людей к вещественной выгоде?
Оба.
Сердца – такие ж моторы.
Душа – такой же хитрый двигатель.
Мы равные.
Товарищи в рабочей массе.
Пролетарии тела и духа.
Лишь вместе
вселенную мы разукрасим
и маршами пустим ухать.
Отгородимся от бурь словесных молотом.
К делу!
Работа жива и нова.
А праздных ораторов —
на мельницу!
К мукомолам!
Водой речей вертеть жернова.

Той стороне

Мы
не вопль гениальничанья —
«все дозволено»,
мы
не призыв к ножовой расправе,
мы
просто
не ждем фельдфебельского
«вольно!»,
чтоб спину искусства размять,
расправить.

Гарцуют скелеты всемирного Рима
на спинах наших.
В могилах мало им.
Так что ж удивляться,
что непримиримо
мы
мир обложили сплошным «долоем».

Характер различен.
За целость Венеры вы
готовы щадить веков камарилью.
Вселенский пожар размочалил нервы.

Орете:

«Пожарных!

Горит Мурильо!»

А мы —

не Корнеля с каким-то Расином —

отца, —

предложи на старье меняться, —

мы

и его

обольем керосином

и в улицы пустим —

для иллюминаций.

Бабушка с дедушкой.

Папа да мама.

Чинопочитанья проклятого тина.

Лачуги рушим.

Возносим дома мы.

А вы нас —

«ловить арканом картинок?!»

Мы

не подносим —

«Готово!

На блюде!

Хлебайте сладкое с чайной ложки!»

Клич футуриста:

были б люди —

искусство приложится.

В рядах футуристов пусто.
Футуристов возраст – призыв.
Изрубленные, как капуста,
мы войн,
революций призы.
Но мы
не зовем обывателей гроба.
У пьяной,
в кровавом пунше,
земли —
смотрите! —
взбухает утроба.
Рядами выходят юноши.
Идите!
Под ноги —
топчите ими —
мы
бросим
себя и свои творенья.
Мы смерть зовем рожденья во имя.
Во имя бегая,
паренья,
реянья.
Когда ж
прорвемся сквозь заставы,
и праздник будет за болью боя, —
мы
все украшенья
расставить заставим —

любите любое!

1918

Левый марш (матросам)

Разворачивайтесь в марше!
Словесной не место кляuze.
Тише, ораторы!
Ваше
слово,
товарищ маузер.
Довольно жить законом,
данным Адамом и Евой.
Клячу историю загоним.
Левой!
Левой!
Левой!
Эй, синеблузые!
Рейте!
За океаны!
Или
у броненосцев на рейде
ступлены острые кили?!
Пусть,
оскалясь короной,
вздывает британский лев вой.
Коммуне не быть покоренной.
Левой!

Левой!
Левой!

Там
за горами гóря
солнечный край непочатый.
За голод,
за мора море
шаг миллионный печатай!
Пусть бандой окружат нáнятой,
стальной изливаются лéeвой, —
России не быть под Антантой.
Левой!
Левой!
Левой!

Глаз ли померкнет орлий?
В старое ль станем пýлиться?
Крепи
у мира на горле
пролетариата пальцы!
Грудью вперед бравой!
Флагами небо оклеивай!
Кто там шагает правой?
Левой!
Левой!
Левой!

Потрясающие факты

Небывалей не было у истории в аннале
факта:

вчера,
сквозь иней,
звения в «Интернационале»,
Смольный
ринулся
к рабочим в Берлине.

И вдруг
увидели
деятели сыска,
все эти завсегдатаи баров и опер,
триэтажный
призрак
со стороны российской.

Поднялся.

Шагает по Европе.

Обедающие не успели окончить обед —

в место это

грохнулся,

и над Аллеей Побед —

знамя

«Власть Советов».

Напрасно пухлые руки взмолены, —

не остановить в его неслышном карьере.

Раздавил

и дальше ринулся Смольный,
республик и царств беря барьеры.

И уже

из лоска

тротуарного глянца

Брюсселя,

натягивая нерв,

росла легенда

про Летучего голландца —

голландца революционеров.

А он —

по полям Бельгии,

по рыжим от крови полям,

туда,

где гудит союзное ржанье,

метнулся.

Красный встал над Парижем.

Смолкли парижане.

Стоишь и сладостным маршем манишь.

И вот,

восстанию в лапы отдана,

рухнула республика,

а он — за Ла-Манш.

На площадь выводит подвалы Лондона.

А после

пароходы

низко-низко

над океаном Атлантическим видели —
пронесся.
К шахтерам калифорнийским.
Говорят —
огонь из зева выделил.
Сих фактов оценки различна мерка.
Не верили многие.
Ловчились в спорах.
А в пятницу
утром
вспыхнула Америка,
землей казавшаяся, оказалась порох.
И если
скулит
обывательская моль нам:
— не увлекайтесь Россией, восторженные дети, —
я
указываю
на эту историю со Смольным.
А этому
я,
Маяковский,
свидетель.

1919

С товарищеским приветом, Маяковский

Дралось
некогда
греков триста
сразу с войском персидским всем.
Так и мы.
Но нас,
футуристов,
нас всего — быть может — семь.
Тех
нашли у истории в пылях.
Подсчитали
всех, кто сражен.
И поют
про смерть в Фермопилах.
Восхваляют, что лез на рожон.
Если петь
про залезших в щели,
меч подъявших
и павших от, —
как не петь
нас,
у мыслей в ущелье,
не сдаваясь, дерущихся год?

Слава вам!

Для посмертной лести
да не словит вас смерти лов.

Неуязвимые, лезьте
по скользящим скалам слов.

Пусть
хотя б по капле,
по две
ваши души в мир волеются
и растят
рабочий подвиг,
именуемый
«Революция».

Поздравители
не хлопают дверью?

Им
от страха
небо в овчину?

И не надо.

Сотую —
верю! —
встретим годовщину.

1919

Мы идем

Кто вы?

Мы

разносчики новой веры,

красоте задающей железный тон.

Чтоб природами хилыми не сквернили скверы,

в небеса шарахаем железобетон.

Победители,

шествуем по свету

сквозь рев стариков злочий.

И всем,

кто против,

советуем

следующий вспомнить случай.

Раз

на радугу

кулаком

замахнулся городской:

— чего, мол, меня нарядней и чище! —

а радуга

вырвалась

и давай

опять сиять на полицейском кулачище.

Коммунисту ль

распластываться

перед тем, кто старей?
Беречь сохранность насиженных мест?
Это революция
и на Страстном монастыре
начертила:
«Не трудящийся не ест».
Революция
отшвырнула
тех, кто
рушащееся
оплакивал тысячью родов,
ибо знает:
новый грядет архитектор —
это мы,
иллюминаторы завтрашних городов.
Мы идем
нерушимо,
бодро.
Эй, двадцатилетние!
взываем к вам.
Барабаня,
тащите красок вёдра.
Заново обкрасимся.
Сияй, Москва!
И пускай
с газеты
какой-нибудь выродок
сражается с нами
(не на смерть, а на живот).

Всех младенцев перебили по приказу Ирода;
а молодость,
ничего —
живет.

1919

Окна РОСТА

«Рабочий! глупость беспартийную выкинь!...»

1. Рабочий!

Глупость беспартийную выкинь!

Если хочешь жить с другими вразброд —
всех по очереди словит Деникин,
всех сожрет генеральский рот.

2. Если ж на зов партийной недели

придут миллионы с фабрик и с пашен —
рабочий быстро докажет на деле,
что коммунистам никто не страшен.

Октябрь 1919

Песня рязанского мужика

1. Не хочу я быть советской.

Батюшки!

А хочу я жизни светской.

Матушки!

Походил я в белы страны.

Батюшки!

Мужичков встречают странно.

Матушки!

2. Побывал у Дутова.

Батюшки!

Отпустили вздутого.

Матушки!

3. Я к Краснову, у Краснова —

Батюшки!

Кулачище – сук сосновый.

Матушки!

4. Я к Деникину, а он —

Батюшки!

Бьет крестьян, как фараон.

Матушки!

5. Мамонтов-то генерал —

Батюшки!
Матершинно наорал.
Матушки!
Я ему: «Все люди братья».
Батюшки!
А он: «И братьев буду драть я».
Матушки!

6. Я поддался Колчаку.
Батюшки!
Своротил со скул щеку.
Матушки!
На Украину махнул.
Батюшки!
Думаю, теперь вздохну.
Матушки!
А Петлюра с Киева —
Батюшки!
Уж орет: «Секи его!»
Матушки!

7. Видно, белый ананас —
Батюшки!
Наработан не для нас.
Матушки!
Не пойду я ни к кому,
Батюшки!
Окромя родных Коммун.
Матушки!

Октябрь 1919

Два гренадера и один адмирал (на мотив «Во Францию два гренадера»)

1. Три битых брели генерала,
был вечер печален и сер.
Все трое, задавшие драла
из *РСФСР*.

2. Юденич баском пропитым
скулит: «Я, братцы, готов.
Прогнали обратно побитым,
да еще прихватили Гдов.
Нет целого места на теле.
За фрак эполеты продам,
пойду служить в метрдоатели,
по ярмарочным городам».

3. Деникин же мрачно горланил:
«Куда мне направить курс?
Не только не дали Орла они,
а еще и оттяпают Курск.
Пойду я просить Христа ради,
а то не прожить мне никак.
На бойню бы мне в Петрограде

на должность пойти мясника».

4. Визглив голосок адмирала,
и в нем безысходная мука:
«А я, я – вовсе марала,
Сибирь совершенно профукал.
Дошел я, братцы, до точки,
и нет ни двора, ни кола.
Пойду и буду цветочки
сажать, как сажал Николя».

5. Три битых плелись генерала,
был вечер туманен и сер.
А флаги маячили ало
над РСФСР.

Ноябрь 1919

Баллада об одном короле и тоже об одной блохе (он же Деникин)

1. Жил-был король английский,
весь в горноста́й-мехах.
Раз пил он с содой виски —
вдруг —
скок к нему блоха.
Блоха?
Ха-ха-ха-ха!

2. Блоха кричит: «Хотите,
Большеви́ков сотру?
Лишь только заплатите
побольше мне за труд!»
За труд? блохи?
Хи-хи-хи-хи!

3. Король разлился в ласке,
его любезней нет.
Дал орден ей «Подвязки»
и целый воз монет.
Монет?
Блохе?

Хе-хе-хе-хе!

4. Войска из блох он тоже
собрал и драться стал.
Да вышла наша кожа
для блошных зуб толста.
Для зуб блохи!
Хи-хи-хи-хи!

5. Хвастнул генерал немножко —
красноармеец тут...
схватил блоху за ножку,
под ноготь — и капут!
Капут блохе!
Хе-хе-хе-хе!

6. У королей унынье.
Идем, всех блох кроша.
И, говорят, им ныне
не платят ни гроша.
Вот и конец блохи.
Хи-хи-хи-хи!

Ноябрь – декабрь 1919

«Раньше были писатели белоручки...»

Раньше были писатели белоручки.
Работали для крохотной разряженной кучки.
А теперь писатель – голос масс.
Станет сам у наборных касс.
И покажет в день писательского субботника,
что Россия не белоручку нашла, а работника.

1920

«Мчит Пилсудский...»

1. Мчит Пилсудский,
пыль столбом,
звон идет от марша...
2. Разобьется глупым лбом
об Коммуну маршал.
3. Паны красным ткнут петлю,
нам могилу роют.
4. Ссыпь в могилу эту тлю
вместе с Петлюрою!
5. Лезут, в дрожь вгоняя аж,
на Коммуну паны.
6. Да оборвут
об штык
об наш
белые жупаны.
7. Быть под панским сапогом
нам готовит лях-то,
8. да побежит от нас бегом

выбранная шляхта.

9. Шляхта ждет конец такой.

Ладно,

ждите больше!

10. А за этой

за войной

быть Коммуне в Польше!

Апрель 1920

«Оружие Антанты – деньги...»

1. Оружие Антанты – деньги,
2. Белогвардейцев оружие – ложь.
3. Меншевииков оружие – в спину нож.
4. Правда,
5. глаза открытые
6. и ружья —
вот коммунистов оружие.

Июль 1920

«Если жить вразброд...»

1. Если жить вразброд,
как махновцы хотят,
2. буржуазия передушит нас, как котят.
3. Что единица?
Ерунда единица!
4. Надо
в партию коммунистическую объединиться
5. И буржуи,
какими б ни были ярыми,
6. побегут
от мощи
миллионных армий.

Июль 1920

История про бублики и про бабу, не признающую республики

1. Съя история была
в некоей республике.
Баба на базар плыла,
а у бабы бублики.
2. Слышит топот близ её,
музыкою вёется:
бить на фронте пановъё
мчат красноармейцы.
3. Кушать хотца одному,
говорит ей: «Тетя,
бублик дай голодному!
Вы ж на фронт нейдете?!»
4. Коль без дела будет рот,
буду слаб, как мощи.
5. Пан республику сожрет,
если будем тощи».
6. Баба молвила: «Ни в жисть
не отдам я бублики!
Прочь, служивый! Отвяжись!
Черта ль мне в республике?!»
7. Шел наш полк и худ и тощ,
паны ж все саженные.
Нас смела панова мощь

- в первом же сражении.
8. Мчится пан, и лют и яр,
смерть неся рабочим;
к глупой бабе на базар
влез он между прочим.
9. Видит пан – бела, жирна
баба между публики.
Миг – и съедена она.
И она и бублики.
10. Посмотри, на площадь выйди —
ни крестьян, ни ситника.
Надо вовремя кормить
красного защитника!
11. Так кормите ж красных рать!
Хлеб неси без вою,
чтобы хлеб не потерять
вместе с головою!

Август 1920

Красный еж

Голой рукою нас не возьмешь.
Товарищи, – все под ружья!
Красная Армия – Красный еж —
железная сила содружья.
Рабочий на фабрике, куй, как куёшь,
Деникина день сосчитан!
Красная Армия – Красный еж —
верная наша защита.
Крестьяне, спокойно сейте рожь,
час Колчака сосчитан!
Красная Армия – Красный еж —
лучшая наша защита.
Врангель занес на Коммуну нож,
баронов срок сосчитан!
Красная Армия – Красный еж —
не выдаст наша защита.
Назад, генералы, нас не возьмешь!
Наземь кидайте оружие.
Красная Армия – Красный еж —
железная сила содружья.

Частушки

(«Милкой мне в подарок бурка...»)

Милкой мне в подарок бурка
и носки подарены.
Мчит Юденич с Петербурга
как наскипидаренный.
Мчит Пилсудский, пыль столбом,
стон идет от марша.
Разобьется панским лбом
об Коммуну маршал.
В октябре с небес не пух —
снег с небес валится.
Что-то наш Деникин вспух,
стал он криволицый.

1919–1920

Владимир Ильич!

Я знаю —
не герои
низвергают революций лаву.
Сказка о героях —
интеллигентская чушь!
Но кто ж
удержится,
чтоб славу
нашему не воспеть Ильичу?

Ноги без мозга – вздорны.
Без мозга
рукам нет дела.
Металось
во все стороны
мира безголовое тело.
Нас
продавали на вырез.
Военный вздымался вой.
Когда
над миром вырос
Ленин
огромной головой.

И зéмли

сели на бси.
Каждый вопрос – прост.
И выявилось

Два
в хабсе
мира
во весь рост.
Один —
животище на животище.
Другой —
непреклонно скалистый —
влил в миллионы тыщи.
Встал
горой мускулистой.

Теперь
не промахнемся мимо.
Мы знаем кого – мети!
Ноги знают,
чьими
трупами
им идти.

Нет места сомненьям и воям.
Долой улитье – «подождем»!
Руки знают,
кого им
крыть смертельным дождем.

Пожарами землю ды́мя,
везде,
где народ исплѣнен,
взрывается
бомбой
имя:
Ленин!
Ленин!
Ленин!

И это —
не стихов вееру
обмахивать юбиляра уют. —

Я
в Ленине
мира веру
славлю
и веру мою.

Поэтом не быть мне бы,
если б
не это пел —
в звездах пятиконечных небо
безмерного свода РКП.

1920

**Необычайное приключение,
бывшее с Владимиром
Маяковским летом на даче
(Пушкино, Акулова гора,
дача Румянцева, 27 верст
по Ярославской жел. дор.)**

В сто сорок солнц закат пылал,
в июль катилось лето,
была жара,
жара плыла —
на даче было это.
Пригорок Пушкино горбил
Акуловой горою,
а низ горы —
деревней был,
кривился крыш корою.
А за деревнею —
дыра,
и в ту дыру, наверно,
спускалось солнце каждый раз,
медленно и верно.
А завтра
снова

мир залить
вставало солнце ало.
И день за днем
ужасно злить
меня
вот это
стало.

И так однажды разозлясь,
что в страхе все поблекло,
в упор я крикнул солнцу:
«Слазь!
довольно шлаться в пекло!»

Я крикнул солнцу:
«Дармоед!
занежен в облака ты,
а тут – не знай ни зим, ни лет,
сиди, рисуй плакаты!»

Я крикнул солнцу:
«Погоди!
послушай, златолобо,
чем так,
без дела заходить,
ко мне
на чай зашло бы!»

Что я наделал!
Я погиб!
Ко мне,
по доброй воле,
само,

раскинув луч-шаги,
шагает солнце в поле.
Хочу испуг не показать —
и ретируюсь задом.
Уже в саду его глаза.
Уже проходит садом.
В окошки,
в двери,
в щель войдя,
валилась солнца масса,
ввалилось;
дух переведя,
заговорило басом:
«Гоню обратно я огни
впервые с сотворенья.
Ты звал меня?
Чаи гони,
гони, поэт, варенье!»
Слеза из глаз у самого —
жара с ума сводила,
но я ему —
на самовар:
«Ну что ж,
садись, светило!»
Черт дернул дерзости мои
орать ему, —
сконфужен,
я сел на уголок скамьи,
боюсь – не вышло б хуже!

Но странная из солнца ясь
струилась, —
и степенность
забыв,
сизжу, разговорясь
с светилом постепенно.
Про то,
про это говорю,
что-де заела Роста,
а солнце:
«Ладно,
не горюй,
смотри на вещи просто!
А мне, ты думаешь,
светить
легко?
— Поди, попробуй! —
А вот идешь —
взялось идти,
идешь — и светишь в оба!»
Болтали так до темноты —
до бывшей ночи то есть.
Какая тьма уж тут?
На «ты»
мы с ним, совсем освоясь.
И скоро,
дружбы не тая,
бью по плечу его я.
А солнце тоже:

«Ты да я,
нас, товарищ, двое!
Пойдем, поэт,
взорим,
вспоем
у мира в сером хламе.
Я буду солнце лить свое,
а ты – свое,
стихами».
Стена теней,
ночей тюрьма
под солнц двустволкой пала.
Стихов и света кутерьма —
сияй во что попало!
Устанет то,
и хочет ночь
прилечь,
тупая сонница.
Вдруг – я
во всю светаю мочь —
и снова день трезвонится.
Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца,
светить —
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой —
и солнца!

Отношение к барышне

Этот вечер решал —
не в любовники выйти ль нам? —
темно,
никто не увидит нас.
Я наклонился действительно,
и действительно
я,
наклонясь,
сказал ей,
как добрый родитель:
«Страсти крут обрыв —
будьте добры,
отойдите.
Отойдите,
будьте добры».

1920

Гейнеобразное

Молнию метнула глазами:
«Я видела —
с тобой другая.
Ты самый низкий,
ты подлый самый...» —
И пошла,
и пошла,
и пошла, ругая.
Я ученый малый, милая,
громыханья оставьте ваши.
Если молния меня не убила —
то гром мне,
ей-богу, не страшен.

1920

«Портсигар в траву...»

Портсигар в траву
ушел на треть.
И как крышка
блестит
наклонились смотреть
муравьишки всяческие и травишка.
Обалдело дивились
выкрутас монограмме,
дивились сиявшему серебром
полированным,
не стоившие со своими морями и горами
перед делом человеческим
ничего ровно.
Было в диковинку,
слепило зрение им,
ничего не видевшим этого рода.
А портсигар блестел
в окружающее с презрением:
— Эх, ты, мол,
природа!

1920

Последняя страничка гражданской войны

Слава тебе, красноезвездный герой!

Землю кровью вымыв,
во славу коммуны,
к горе за горой
шедший твердынями Крыма.
Они проползали танками рвы,
выпятив пушек шеи, —
телами рвы заполняли вы,
по трупам перейдя перешеек.
Они

за окопами взрыли окоп,
хлестали свинцовой рекою, —
а вы
отобрали у них Перекоп
чуть не голой рукою.
Не только тобой завоеван Крым
и белых разбита орава, —
удар твой двойной:
завоевано им
трудиться великое право.
И если
в солнце жизнь суждена
за этими днями хмурыми,

мы знаем —
вашей отвагой она
взята в перекопском штурме.
В одну благодарность сливаем слова
тебе,
краснозвездная лава.
Во веки веков, товарищи,
вам —
слава, слава, слава!

1920–1921

О дряни

Слава, Слава, Слава героям!!!

Впрочем,

им

довольно воздали дани.

Теперь

поговорим

о дряни.

Утихомирились бури революционных лон

Подернулась тиной советская мешанина.

И вылезло

из-за спины РСФСР

мурло

мещанина.

(Меня не поймаете на слове,

я вовсе не против мещанского сословия.

Мещанам

без различия классов и сословий

мое славословие.)

Со всех необъятных российских нив,

с первого дня советского рождения

стеклись они,

наскоро оперенья переменив,

и засели во все учреждения.

Намозолив от пятилетнего сидения зады,
крепкие, как умывальники,
живут и поныне
тише воды.
Свили уютные кабинеты и спальни.

И вечером
та или иная мразь,
на жену,
за пианином обучающуюся, глядя,
говорит,
от самовара разморясь:
«Товарищ Надя!
К празднику прибавка —
24 тыщи.
Тариф.
Эх,
и заведу я себе
тихоокеанские галифища,
чтоб из штанов
выглядывать,
как коралловый риф!»
А Надя:
«И мне с эмблемами платья.
Без серпа и молота не покажешься в свете!
В чем
сегодня

буду фигурировать я
на балу в Реввоенсовете?!»
На стенке Маркс.
Рамочка а́ла.
На «Известиях» лежа, котенок греется.
А из-под потолочка
верещала
оголтелая канареица.

Маркс со стенки смотрел, смотрел...
И вдруг
разинул рот,
да как заорет:
«Опутали революцию обывательщины нити.
Страшнее Врангеля обывательский быт.
Скорее
головы канарейкам сверните —
чтоб коммунизм
канарейками не был побит!»

1920–1921

Стихотворение о Мясницкой, о бабе и о всероссийском масштабе

Сапоги почистить – 1 000 000.

Состояние!

Раньше б дом купил —

и даже неплохой.

Привыкли к миллионам.

Даже до луны расстояние
советскому жителю кажется чепухой.

Дернул меня черт

писать один отчет.

«Что это такое?» —

спрашивает с тоскою
машинистка.

Ну, что отвечу ей?!

Черт его знает, что это такое,
если сзади

у него

тридцать семь нулей.

Недавно уверяла одна дура,
что у нее

тридцать девять тысяч семь сотых температура

Так привыкли к таким числам,

что меньше сажени число и не мыслим.

И нам,

если мы на митинге реведем,
рамки арифметики, разумеется, ўзки —
все разрешаем в масштабе мировом.
В крайнем случае – масштаб общерусский.
«Электрификация?!» – масштаб всероссийский.
«Чистка!» – во всероссийском масштабе.
Кто-то
даже,
чтоб избежать переписки,
предлагал —
сквозь землю
до Вашингтона кабель.

Иду.
Мясницкая.
Ночь глуха.
Скачу трясогузкой с ухаба на ухаб.
Сзади с тележкой баба.
С вещами
на Ярославский
хлюпает по ухабам.
Сбивают ставшие в хвост на галоши;
то грузовик обдаст,
то лошадь.
Балансируя
– четырехлетний навык! —
тащусь меж канавиц,
канав,
канавок.

И то

— на лету вспоминая маму —
с размаху
у почтамта

плюхаюсь в яму.

На меня тележка.

На тележку баба.

В грязи ворочаемся с боку на бок.

Что бабе масштаб грандиозный наш?!

Бабе грязью обдало рыло,

и баба,

взбираясь с этажа на этаж,

сверху

и меня

и власти крыла.

Правдив и свободен мой вещий язык

и с волей советскою дружен,

но, натолкнувшись на эти низы,

даже я запнулся, сконфужен.

Я

на сложных агитвопросах рос,

а вот

не могу объяснить бабе,

почему это

о грязи

на Мясницкой

вопрос

никто не решает в общемясницком масштабе?!

Приказ № 2 армии искусств

Это вам —
упитанные баритоны —
от Адама
до наших лет,
потрясающие театрами именуемые притоны
ариями Ромео и Джульетт.

Это вам —
центры¹,
раздобревшие как кони,
жрущая и ржущая России краса,
прячущаяся мастерскими,
по-старому драконя
цветочки и телеса.

Это вам —
прикрывшиеся листиками мистики,
лбы морщинками изрыв —
футуристики,
имажинистики,
акмеистики,
запутавшиеся в паутине рифм.
Это вам —

¹ Художники (фр. – peintres).

на растрепанные сменившим
гладкие прически,
на лапти — лак,
пролеткультцы,
кладущие заплатки
на вылинявший пушкинский фрак.

Это вам —
пляшущие, в дуду дующие,
и открыто предающиеся,
и грешащие тайком,
рисующие себе грядущее
огромным академическим пайком.

Вам говорю
я —
гениален я или не гениален,
бросивший безделушки
и работающий в Росте,
говорю вам —
пока вас прикладами не прогнали:
Бросьте!

Бросьте!
Забудьте,
плюньте
и на рифмы,
и на арии,
и на розовый куст,

и на прочие мелехлюндии
из арсеналов искусств.
Кому это интересно,
что – «Ах, вот бедненький!
Как он любил
и каким он был несчастным...»?
Мастера,
а не длинноволосые проповедники
нужны сейчас нам.
Слушайте!
Паровозы стонут,
дует в щели и в пол:
«Дайте уголь с Дону!
Слесарей,
механиков в депо!»

У каждой реки на истоке,
лежа с дырой в боку,
пароходы провыли доки:
«Дайте нефть из Баку!»

Пока канителю, спорим,
смысл сокровенный ища:
«Дайте нам новые формы!» —
несется вопль по вещам.

Нет дураков,
жда, что выйдет из уст его,
стоять перед «маэстрами» толпой разинь.

Товарищи,
дайте новое искусство —
такое,
чтобы выволочь республику из грязи.

1921

Прозаседавшиеся

Чуть ночь превратится в рассвет,
вижу каждый день я:
кто в глав,
кто в ком,
кто в полит,
кто в просвет,
расходится народ в учрежденья.
Обдают дождем дела бумажные,
чуть войдешь в здание:
отобрав с полсотни —
самые важные! —
служащие расходятся на заседания.

Заявишься:
«Не могут ли аудиенцию дать?
Хожу со времени она». —
«Товарищ Иван Ваныч ушли заседать —
объединение Тео и Гукона».

Исколесишь сто лестниц.
Свет не мил.
Опять:
«Через час велели прийти вам.
Заседают:
покупка склянки чернил

Губкооперативом».

Через час:
ни секретаря,
ни секретарши нет —
гболо!
Все до 22-х лет
на заседании комсомола.

Снова взбираюсь, глядя на ночь,
на верхний этаж семиэтажного дома.
«Пришел товарищ Иван Ваныч?» —
«На заседании
А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома».

Взъяренный,
на заседание
врываюсь лавиной,
дикие проклятья дорогой изрыгая.
И вижу:
сидят людей половины.
О дьяволыщина!

Где же половина другая?
«Зарезали!
Убили!»
Мечусь, оря.
От страшной картины свихнулся разум.
И слышу

спокойнейший голосок секретаря:

«Оне на двух заседаниях сразу.

В день

заседаний на двадцать

надо поспеть нам.

Поневоле приходится раздвояться.

До пояса здесь,

а остальное

там».

С волнения не уснешь.

Утро раннее.

Мечтой встречаю рассвет ранний:

«О, хотя бы

еще

одно заседание

относительно искоренения всех заседаний!»

1922

Сволочи!

Гвоздимые строками,
стойте нёмы!
Слушайте этот волчий вой,
еле прикидывающийся поэмой!
Дайте сюда
самого жирного,
самого плешивого!
За шиворот!
Ткну в отчет Помгола.
Смотри!
Видишь —
за цифрой голой...

Ветер рванулся.
Рванулся и тише...
Снова снегами огрѐб
тысяче-
миллионно-миллионно-крыши
волжских селений гроб.
Трубы —
гробовые свечи.
Даже вѐроны
исчезают,
чуя,
что, дымясь,

тянется
слащавый,
тошнотворный
дух
зажариваемых мяс.
Сына?
Отца?
Матери?
Дочери?
Чья?!
Чья в людоедчестве очередь?!

Помощи не будет!
Отрезаны снегами.
Помощи не будет!
Воздух пуст.
Помощи не будет!
Под ногами
даже глина сожрана,
даже куст.

Нет,
не помогут!
Надо сдаваться.
В 10 губерний могилу вымеряйте!
Двадцать
миллионов!
Двадцать!
Ложитесь!

Вымрите!..

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.